

Елена КРЮКОВА

СОЗВЕЗДИЕ ЛЕБЕДЯ *венки Федору Тютчеву*

...детство, огромное, как ночное небо. Звездное небо; и в нем тысяча солнц. Ты еще не знаешь, что это далекие солнца. И что многие из них уже погасли; а свет, пробежав немыслимые дороги в пустоте, достиг твоих глаз - и только там - на дне зрачка - на миг - вспыхнул.

...и вот ты взрослый. Тебе еще немного времени дано побыть в подлунном мире. Полюбоваться на солнце, луну и звезды. На огонь и воду. На землю и небо. Вдохнуть ветер; обласкать глазами, руками первый снег. Сразиться со злом. Утвердить добро. Это только в том случае, если ты выбрал сердцем Бога - и пошел за Ним.

*Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.*

Если поэт живет подлинностью своего дара, тогда он - неизбежно - философ. И наоборот: всякий великий философ - поэт. Так сплетаются ипостаси мыслителя и художника. Что же, какое же чудо пронзает, насквозь пробивает нам плотный защитный панцирь души, обнажает нас, ставя перед ликом торжественного Космоса?

Федор Иванович Тютчев сам есть Космос. Россия - счастливица: ей отныне и навеки дано держать великого Поэта на ладони; на руках, в руках, как держит младенца мать; глядя огромными озерными, речными глазами на свое вечное сокровище, звездно плача над поэтовой неоглядной, небесной судьбой. И шепчут губы Руси его строки: они наша русская Псалтырь, наши неохватные, алмазные, звездные письма.

Да, есть судьбы небесные и земные. И любовь есть - небесная и земная: как на знаменитой картине Тициана. Как этот нежный, в патриархальной дворянской семье рожденный мальчик, возвращенный бывшим крепостным Николаем Афанасьевичем Хлоповым, вдруг ощутил в себе громадный, на полмира, Космос, звездный вихрь чувств, музыки и слез? Тогда ли, в тот день, когда они с воспитателем нашли в траве мертвую голубку, и Феденька заплакал горько, неутешно, а потом голубку похоронил - и в слезах сидел за столом над листом бумаги, и капали с пера чернила, и лились слезы, и, как слезы, лились первые стихи?

Что такое стихотворенье? Краткий стих или мощный эпос? Как человек додумался складывать слова в песню, в молитву? Письмена явились позже, потом; сперва явился звук. Музыка. Внутри музыки таится вся мощь Космоса, довременное гуденье, сгущенье Большого Взрыва. А потом, когда в стороны, навстречу бесконечности, широко и радостно разлетаются звезды, галактики, туманности, кометы и планеты, музыку Бог высвобождает из оков, и она тоже летит - и поет вместе со всем освобожденным, приговоренным к жизни и смерти миром.

...и начинается отсчет времени.

Время. Вот загадка. Вот та материя, с которой напрямую работает художник. Федор Иванович с ним, с временем, тоже смело работал.

Он был с ним накоротке; но не фамильярничал; он понимал его неуклонность, его - для малого, бедного человека - могучую бесповоротность; он возлюбил его, ибо поэту Богом дано возлюбить время: под куполом Времени, во храме Времени поэт поет о вечности, и не думает он о своем мессианстве, но твердо - кровью, сердцем, не умом! - знает: время - Космос; время - история; время - миф. Время - та мировая трансцендентность, о которую человек бьется, как рыба об лед, та волна, что исподволь, издали, из допотопного хаоса, катится к человеку, а потом внезапно, во весь рост, вырастает перед ним, и он, подхваченный волной, крича, плывет, еще плывет, а потом - и тонет во времени.

Стихия! Разве с нею возможна борьба? Разве не лучше, не счастливее покориться ей?

Может, это и есть тайный брак человека и стихии?

То глас ее: он нудит нас и просит...

Уж в пристани волшебный ожил челн;

Прилив растет и быстро нас уносит

В неизмеримость темных волн.

Волны времени... волны...

Овстуг, он ведь тоже морской. Еще до всех морских стихотворений Федора Ивановича. Еще до всего безумного моря великой последней любви, захлестнувшей его, затопившей. Над Овстугом - море неба. Неба лебединого - на гербе Тютчевых гордые лебеди; неба солнечного, и победная синь и слепящее солнечное золото, так же, как синь васильков в золотой ржи, - любимые, кровные цвета Руси Православной, нежно и отчаянно любимой: во всех сужденных чужбинах.

Золото - купола. Синь - зенит. Вечный, мощный аккорд. Русский.

Небо - перевернутое море! Море - перевернутое небо! И есть предчувствие. Предчувствие, быть может, самое большое счастье человека, счастье детства и юности. Простор - еще одно состояние Родины; лебединый простор Овстуга дал мальчику Тютчеву блаженство - чуют себя сопричастным простору, ощущать себя одновременно и малой частицею мироздания, и сильным созданием Бога, образом и подобием Божиим.

Москва, куда уезжали на зиму Тютчевы, ведь она еще не знала, что Наполеон надвинется на Русь, что она, град русский первопрестольный, будет сожжена, хотя юродивые, по улицам и площадям Москвы мотавшиеся в рваных рубищах своих, предсказывали сей великий пожар - они предчувствовали его. И еще до пожара, до войны с Наполеоном Феденька в московской спаленке своей все читал, читал и читал - и греков, и римлян, и Тредиаковского, и Хераскова, и Державина, и Жуковского...

Насыщался - поэзией...

А небо? Необъятное море звезд, ночной прибой? Зимней московской ночью, выйдя на крыльцо и глядя на московские звезды, мальчик вспоминал усадьбу. И поля вокруг Овстуга. И журавлей, и лебедей под облаками. Он издали, из времени, видел себя. Вечерело. Он лежал на колком жнивье. Над ним раскидывался сначала розово-золотой, потом густо-синий, потом сине-черный мощный купол. И вспыхивали под куполом сонмы огней. Малых и великих. Незаметных и ярчайших. Он хорошо помнил уроки астрономии Николая Афанасьевича. Синяя Вега стояла в зените. Справа от нее, вбок чуть поведи взором, крупный алмаз Денеба. Денеб. Альфа Лебеда. Альфа, это значит, самая яркая звезда. Созвездие Лебеда. Куда небесный Лебедь летит, вытянув гордую шею? В какие времена? А может быть, в вечность, к богам? А человеку как достигнуть богов? А зачем? На что обречен человек? И... обречен ли?

Может, это и есть наша судьба - принять и понять? Стерпеть и смириться?
И разве не об этом говорил людям Христос?
Тогда зачем же мы боремся? Зачем - бьемся? Может, напрасно все?

*Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне...*

Да, все-таки - борьба. Внутри истории, внутри дискретного времени - всегда борьба. Иначе, если ты отвернешься, ляжешь, закроешь глаза и сложишь бессильные руки на груди, ты умрешь прежде твоей смерти.

Родное и чужое.
Близкое и далекое.
Зачем Бог показал ему чужбину?
А как было любопытно вначале! Как интересно, радостно, роскошно! Загадочная Европа, сказочная Германия, зеленокудрявая Бавария, тут уже, гляди-ка, диво какое, растет виноград и выделывают чудесное вино, а в мюнхенских кабачках подают такие пьянящие напитки, о, нет, атташе русской дипломатической миссии не должен себе позволять всяческие вольности, он должен утвердиться на службе, на таком с трудом выхлопотанном знатной роднею месте, - а вечерами, о, вечерами опять поэзия, опять она... Читать, ночи напролет: Гете, Шиллера, Гельдерлина, Новалиса...
Впитывать чужую культуру, как греческая губка впитывает морскую соль; как причастный хлеб впитывает вино, и ты с благоговением приближаешься ко Святым Дарам.
Нет деления на чужое и свое в Космосе культуры. Шекспир жил вчера. Нет, он живет сегодня. Гомер дышит, улыбается, поет первую песнь "Илиады": "Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...". Гете, да ведь он идет, еще идет по аллеям Теплица, еще, старик, ведет под руку юную возлюбленную свою, Ульрику фон Левецов, а вы знаете, Ульрика родила ему, древнему старцу, ребенка, правду говорят, седина в бороду, бес в ребро! До старости юноше Тютчеву далеко. И Фридрих Шиллер - его ровесник - лишь вчера написал "Вертера". Что напишет он? Что - он - уже сейчас! - пишет?
Да о Родине он пишет, о Родине!
На чужбине - все о ней!

*Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит:
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...*

На чужбине одолевает тоска по Родине. Он тосковал по России тем сильнее, чем ярче, серьезнее и безусловнее становилась его дипломатическая карьера. Женщины? Все немки, все; тевтонская сильная кровь; где ты живешь, там и твои женщины. Тяга к нежности, тяга к продолжению рода... Как продолжить род духа своего? Зачем поэту дано великое чувство, и оно обращается в письмена, а письмена - снова в звуки, и так возобновляется круговорот звезд над твоею головой, над головами тех, кто явится в сей мир после тебя?

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был -
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!*

...удивительно: ему требовалось очень немного слов, чтобы запечатлеть, зарисовать огромность бытия, великость мироздания, силу чувства, уникальность мгновенья. Иные поэты любили и умели писать огромные поэмы, размахивались на широкие композиции, на оды и циклы, поклонялись эпосу; он же закрывал глаза - и его нерожденное стихотворенье маячило, моталось перед ним прозрачным белым ангелом, облачным призраком... летящим в родимой синеве лебедем.

Он мог бы держать свой стих на ладони и рассматривать его с разных сторон. А иной раз - и не мог бы. Стих ожег бы ему руки, ударил языком огня прямо в сердце.

У него были стихи, которые он сам перечитывать не мог.

Он - творец - огненный созидатель - свободный художник - не мог прикоснуться к живой и жгучей, страшной материи беспощадного открытого Космоса, что породила их.

*О, этот юг, о, эта Ницца...
О, как их блеск меня тревожит —
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья —
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...*

Семьи, свадьбы, крестины, дети, они рождались и умирали, менялись ветра, то в грудь хлестали, то в спину, сбивали с ног, мучили, подгоняли, он только с виду был дипломатом, это для людей, не для себя, а так он был поэтом, настоящим, вольно-веселым, порой диким, никем не прирученным, он мог пускаться в разгул, ночь напролет сидеть на дружеской пирушке, захлеб читать друзьям свои новые стихи, а какая разница, новые или старые, а вот и новая любовь, он же не может без любви, без страсти, лишь она дает ему силу жить - и сочинять.

Любовь - Космос. Яростный, жестокий. Пламя иных солнц. Вихри инаких комет. Эти лучи пронзают насквозь, этот свет слепит и убивает, зачем же ты летишь на

него, трепещущий человеческий мотылек? Люди сплетают и расплетают жизни, и кто угадает, кто предскажет, где, в какой шкатулке судьбы хранится твое единственное счастье?

Елена Денисьева появилась на его небосклоне, вспыхнула новой звездой. На множество лет эта красавица-девица, его дочерей соученица, смолянка-монастырка, его моложе; да он и не считал, на сколько. Для истинной любви, он понял, ни возраста, ни времени нет. И нет для нее Родины и чужбины, и нет счастья и горя, и нет ревности и разлуки; есть только лютый тайный страх, одна молитва: о, поживи на белом свете, живи, поживи еще немного, ангел мой, не умирай, не уходи.

*О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!*

*Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье...*

И все же как было хорошо, что его Леличка была русской, русской! Куда деваться от немецких жен! - а Леличка тут, рядом, и с радостью и с наслаждением по-русски, а не по-французски или по-немецки, говорят они дома, в снятой для них двоих петербургской квартире, и родила она ему трех детей, и какова будет их судьба, этих беспомощных младенцев, никто не знал, и он меньше всех, и видел он, как все, кого нежно любил он, уходили, исчезали с этой земли - куда? к Богу? в небеса? в землю, во гробах, похожих на скорбные деревянные ладьи? В могучее, на полмира и на полнеба, круговращенье звезд, во вьюгу светил, в метель созвездий, чью тайну нам не разгадать - а только молча, в слезах, в ночи, все молиться и молиться ей?

А может, Леличка - его белый лебедь, наконец-то сужденный, навек верный ему, плещущий над ним ангельскими белыми крыльями, и это именно она летит между звезд, а он так давно ее предчувствовал, так давно звал и желал... Поэт - пророк; поэт - блаженный; царь Давид тоже был поэт, да еще какой, вот и он тоже, раб Божий Феодор, пишет свою таинственную, в рифму, Псалтырь; и там хорошо у него, где строки не сочинены им самим, а услышаны с небес, продиктованы все-сильным Богом.

*Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией Божество.
Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.*

Вернувшись в Россию, оставив чужбину за плечами, в своей на глазах исчезающей истории отдельно взятой, никем-ничем особенно и не запечатленной жизни,

вон она, жизнь - в ворохе государственных бумаг, в кипе цензорских предписаний, - он все более становился русским; да он и не переставал им быть и там, в Германии, среди чужого языка и чужого уклада; просто благодать возвращения была столь велика, что он не уставал денно и ночью благодарить Господа за чудо быть русским.

Быть с Россией, с Родиной в вечном мысленном объятии.

Он шел по родной земле, и под ногами его твердела, а порой мягко пружинила, а порою болотно, тревожно плыла почва - слишком много святых костей хранила земля, слишком явственный гул былых битв и пожарищ доносился из тьмы, оттуда, из глубин всепожирающего времени.

*От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...
Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят, — и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.*

Он великолепно знал историю - и родную, и мировую.

Он имел возможность сравнить рождение, жизнь и развитие родной страны с жизнью других стран.

На чьей же стороне был перевес?

И на чьей стороне был он сам?

...он слишком любил Россию, чтобы не прощать ей все ее промахи, обиды и грехи.

Он понимал ее князей и царей, он жалел ее люд, мужиков и служивых, он мысленно вставал на колени перед ржаным, как рядом с Овстугом, полем и целовал землю, пахнущую травой и будущим хлебом.

Что перед его любовью к России стояла вся хитроумная политика, вся строгая государственность, которою он всю жизнь старательно занимался?

История и государственность порой прорывались в его стихи; он рифмовал "сегодня" и "всегда", а пламенное "всегда" все равно побеждало мгновенное "сегодня". Он время от времени набрасывал на бумаге картины преходящего, не мог не откликнуться на события, происходящие здесь и сейчас, они исчезали так же быстро, как и появлялись, и тут пронзительная, бередящая сердце нота вечности все равно прорывалась в сегодняшнюю бурнопламенную симфонию, и не получалось целиком и полностью родить насущную рифму на злобу дня.

А между тем политик Федор Иванович был отменный. Все тонкости дипломатии были ему известны и подвластны. Его зоркий глаз и сильный ум все ловили, все примечали, из всего делали выводы - не скороспелые, а взвешенные. О других странах он ведал всевозможные подробности, и в его каждодневной рутинной работе эти детали ему пригождались; он многое прощал чужеземным послам и насквозь видел хитрости иноземных владык. Но то, что касалось России, было ему свято. К России нельзя было прикасаться грязными либо легкомысленно порхающими руками. Россия, с ее сакральной Царской Семей, с иерархией ее сословий, с ее солдатами и крестьянами, князьями и мастеровыми, моряками и иереями, со Христом ее, вечным, и кротким, и вездесущим, незримо идущим, птицей плывущим в небе рядом с путником, рядом с одинокой дорожной кибиткой, и была Бог; она была под Богом, она была у Бога под крылом, в Божьей ладони, - как начальные письма Евангелия от Иоанна. Он с детства помнил эти слова. Огненный Иоаннов Логос всю жизнь жег ему больно, бурно бьющееся сердце. Что он,

поэт, мог поделаться с пылко бьющимся сердцем своим? Лишь перелить его в жаркие строки.

О, он, мастер, прекрасно знал опасность не пройти по острому лезвию кинжала - и тогда страсть могла стать в стихе лживым пафосом, а искренность - стыдной навязчивостью. Нежность - превратиться в сладкое варенье, а гимн святости - в площадную трескотню. О, он великолепно чувствовал эту грань, за которой поэзия превращалась в свою искусную подделку! И он сторонился этой опасной границы. Все, что лежало за этой границей, было в поэзии настрого запрещено. Все, что лежало внутри Божьего кона, было - счастье. Поэзия. Русь. Летящий в зените белый лебедь.

И вновь и вновь наезжал он в Овстуг, годы летят, зрение гаснет, волосы серебрятся, время бьется с ним и переборет однажды, а взор ловит вокруг, по дороге, пока он трясется в повозке, то, что не видел, не чуял раньше - и то, что невидимо, что не цепляет глаз и чему не внимает ухо, но что сочится, просачивается в тебя, становясь твоею болью и кровью, и на щеках солоно, и на губах твоих соленая влага, что это, ты плачешь, да, я плачу, плачу, как все они, что там, в избах, за околицами, на порогах усадеб, на пыльных скитальных путях, близ уходящих в бесконечность серебряных рельс, и сколько еще паровозов разобьется, и сколько флагов в небесах затрепещут, нам не дано знать будущего, мы не знаем даже завтрашнего дня, и остается плакать, лишь плакать, только плакать, да будут благословенны эти слезы: пока человек плачет - он жив, он любит.

*Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые, —
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую порою ночной.*

Душа его превращалась в странницу. Да, да, в скиталицу, в калику переходящую; то, чем он был в миру, в обыденности своей - семья, измена, проклятья и прощенья, великая любовь, забвение и воспоминание, жены и дети, и снова жены и дети, и снова пронзительный, колыбельный младенческий крик, все это исчезало, как исчезает осенний день в дожде и тумане, он шел рядом со своей одетой в черную рясу душой по светлой, как молоко, дороге, тающей в дымной дали, он шел и видел боль, нищету, слезы, опять слезы, косые избы, косые дожди, черствую корку в руке сидящего при дороге мужика, косую молнию, ударяющую из черных туч прямо в куполок сельской крошечной часовни, он шел и шел дальше, все дальше, и глотал слезы, а душа его, странница, паломница, шла впереди его, все впереди и впереди, и он не мог ее догнать, как ни прибавлял шаг, как ни старался; а потом бросил стараться и вольно, свободно ступая, пошел, и воздух осенний полной грудью вдыхал, и знал: жизнь мала, а земля велика, и каждый на ней - Господь, ибо Господь к каждому пришел, Он пришел не к праведникам, но к грешникам, - и шел, слезы глотая, и сознавал великие, на земле, грехи свои, и спрашивал себя наивно, по-детски: а разве любовь - это грех? а разве тот, кто любит, не достоин нынче же быть со Христом в Раю?

*Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —*

*Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.*

Его историческое время постепенно исчезало. Он медленно и верно погружался в то время, которого жаждал всю жизнь - чем оно было, он так и не мог бы с достоверностью обозначить. Легендой? Мифологией? Мечтой? Ах, да, оно было поэзией. Чистой поэзией, беспримесной, играющей всеми гранями под солнцем, как алмаз "Орлов" или алмаз "Шах". Ему сам Бог судил поселиться и жить внутри дворца поэзии; и вот оно, пришло, явилось, его настоящее время. Оно эквивалентно вечности, и доказывать это не надо; надо только внимательно его слушать. И за ним записывать.
Записывать. Это все, что ему остается.
После того, как...

*Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?*

*Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?*

*Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?*

Она все-таки умерла. Его бесценная Леличка. Молодая! А что есть молодость? И что такое старость? Каждому отмерен свой срок. Никто не знает часа своего. Он молился Богу, потрясенно, снова в слезах, вдумываясь на ходу в слова молитвы: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его... Яко исчезает дым, да исчезнут... Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога..." Он стоял у дорогого гроба, глядел в лицо той женщины - матери - нежной девочки, что на горе и счастье свое встретил на перевитых временем дорогах жизни, что полюбил больше жизни, да, так бывает, и вот она уходит, она уже ушла; а он остался; он замер, застыл, он ждет - чего? чуда? воскресил же Господь Лазаря! воскресил же дочь Иаира... Он отчаянно, молча, молился: встань! очнись! открой глаза! Но его любимая Леличка лежала в гробу тихо и смиренно, и он, после кладбища, встал на колени перед женой: возьми в

нашу семью последнего ребенка Лелички, вырасти, спаси, век тебе благодарен буду, и любить тебя за это - буду.

И жена, в слезах, согласно голову наклонила.

"Его скорбь для меня священна, какова бы ни была её причина", - скажет она в те страшные дни друзьям и недругам.

...а может, ему это приснилось? Привиделось? Старшего Федора и малютку Николая - Леличка Денисьева назвала старшего сына именем его отца, возлюбленным именем - на воспитанье взяла тетка Лели, Анна Дмитриевна.

Так соединяются времена и семьи, так тает ненависть и связываются судьбы крепкими - не разрубишь - узлами. Может, в этом и заключен великий смысл рождения и ухода? И смерть все прощает; все просветляет; и все и всех сочетает. Смерть - и еще поэзия.

Без нее мы бы море жизни ни за что не переплыли.

*Среди громов, среди огней,
Среди клокоцущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам –
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре –
И на бунтующее море
Льет примирительный елей...*

Тютчев напрямую работал с архетипами. Благо жизнь разворачивала перед ним целый веер архетипов. Вот война. Человечество не живет без войны. Люди сражаются друг с другом; воюют народы; Тютчев думал о возобновляемости, о роковой повторяемости войны, о том, что война множит дурную бесконечность скорби и боли, - а как от нее увернуться, как избежать ее, если она, как и мир, кровавым архетипом положена в земное основание?

*Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.*

На всю жизнь запомнил мальчик Тютчев, как уезжали они прочь из Москвы от ее страшного, великого, вселенского пожара: от Наполеонова ужаса, сравнимого, может, только с библейским ужасом, когда Давид побивал филистимлян ослиною челюстью или Иисус Навин мановеньем руки останавливал солнце, чтобы врагу не удалось убежать под покровом тьмы, чтобы успеть сразиться и закончить адскую битву. Война! Вечно ли это земное проклятье? Или после Страшного Суда, когда Господь придет на землю в блеске и славе Своей и будет судить всех, живых и мертвых, Страшным Своим Судом, и небеса совьются в свиток, и будет прочитан Последний приговор, все-таки явится Жена, облеченная в солнце, и наступит вожделенный вечный мир, тысячелетнее Райское царство?

О, наступит ли... Или суждено сражаться и сражаться, воевать и воевать, и, кто попадает в красное жерло войны, уже никогда не забудет ее, как никогда не забудет свои страшные войны наш великий народ...

*Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда.*

Война и мир... Небо и земля... Любовь и ненависть... Жизнь и смерть... Да, архетипы. Да, вечные дуалы, земные символы в крепком объятии: не разорвать, не расцепить. А его душа все идет впереди, все маячит на этой туманной дороге перед ним, поэтом, невесомой, призрачной фигурой, и да, жизнь часто кажется ему сном, он сновидит наяву, он записывает стихи, как во сне, как в ночи, так сомнамбула идет по карнизу, точно и торжественно ступает, никогда не упадет, ведь свет небесный над ним и в крошечной ночи, и его сон ему - зеркало, и его зеркало ему - его любовь, и его любовь ему - его Бог, и его Бог ему - его стихи, и его стихи ему - вся его жизнь.

И он знает, что ей есть конец.

И, пока последний час не пришел, он все соединяет, сшивает кровавой ли, золотой ли, ангельской нитью два мира: Этот и Тот.

*О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты — жилища двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...
Пусть страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.*

Он знает: люди забудут, каким он был дипломатом, каким мужем, хорошим или плохим, каким другом, верным или не слишком, кого хотел вызвать на дуэль, как хотел вызвать графа Крюденера, за которого внезапно вышла замуж его великая первая любовь Амалия Лерхенфельд, красotka, дочь баварского посланника в России; он впал в бешенство, в отчаяние от измены и коварства, его с трудом отговорили от дуэли, и он не стал стреляться, а потом жалел об этом; забудут все, что он представлял из себя в текучей реке простых людских дней, а будут помнить лишь его стихи, рожденные светло, мучительно и непонятно при свете свечи, при свете небесных звездных свеч за окном.

Вот это, обращенное к бедняжке Амалии, ставшей не его женою, будут помнить. И петь эти бесхитростные, светлейшие слова на дивную, нежную, неизвестную музыку.

И слезы лить над ним.

*Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, -
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...*

*Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,-
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..*

...а чье же лицо наклоняется над ним, страдающим, больным, старым уже, такое родное, такое близкое и милое, да это жена его вторая, Эрнестина, о нет, он путает лица, может быть, это первая его женушка, Нелли, что попала в кораблекрушение, сильно простыла да так и умерла, в хриплом кашле и в диком жару; нет, это любимая Леличка, последнее благословенье его, она глядит на него большими, как у ангела на фреске во храме, очами, и льются по ее щекам слезы... льются... льются...

*Все отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему еще молиться мог.*

Овстуг. Опять Овстуг. Опять его лебеди - и в пруду, между лилий, и в небесной синеве. Нет, сини нынче нет, и рваные тучи несутся по небосводу, заволакивают пеленой солнце. А хочется света. И чтобы он, свет, выхватил изнутри, из довременной тьмы, тот Космос, что погиб, ушел со смертью единственно любимой. Время! Ты перелистываешь нас, как страницы. И на какой из них записана твоя последняя дата? Время! Зачем мы тебя разлиновали, расчленили, втиснули в графы и реестры! МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС - исчислен, разделен и взвешен, так вещали письмена на стене той многолюдной дымной залы, где гудел и сверкал пир обреченного царя Валтасара. Что же оставит миру он, Федор Иванович Тютчев? Председатель Комитета цензуры иностранной? Государственные бумаги? Женские слезные, отчаянные письма? На пиру какого жестокого - или милосердного - царя он поднимет последнюю чашу?

Глаза не видят. Язык не молвит слово. Недвижность, вот что ждет его. Кому диктовать статьи, кому бормотать стихи? Кому жаловаться на вспыхнувшую в Европе войну между немцами и французами, ужасаться ей, и без слез, выжженной душою, оплакивать тех, кто лег на поле брани? Всюду смерть. А небо? Где же небо? Где же Бог? Звезды?

Он понимал: из собственной жизни, времени исторического, из собственной поэзии, времени сверхчувственного и тайного, он выходит в третье измерение - во время небесное, Божественное.

Вот он, его ночной Космос; на теплой ладони земли, в виду родной усадьбы он лежит в поле, и небо над ним, и чего еще желать?

Небо - в нем. Он - в небе. Все соединилось. Все сплелось.

Так просто. И так счастливо.

Как это у него в том молодом его стихотворении?.. ах, как точно все он обозначил... пожалуй, лучше и не скажешь... вот об этом, об этом великом чувстве всеединства... о Космосе этом, о Боге, вся и всех соединяющем, всё примиряющем...

Как давно он это сочинил! А ведь как просто...

Жизнь... тайна сия велика есть... да, как любовь...

*Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —*

*Жизнь, движенъе разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши —
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!*

Он закрывал глаза - и ночное небо обрушивалось на него всею радостью чистых звезд: громадная звездная люстра, она вращается, сияет, вспыхивают алмазы, горят золотые и медные плашки, тает под натиском могучего света ада чернота, умирает мрак, - а что же заступает место мрака? есть свет, есть только свет, белый лебедь, лучи веселого солнца над Овстугом, и он, ребенок, бежит по полю, раскинув руки, а потом, юноша, ложится на летнюю теплую землю, на стерню, и глядит в небо, и улетает за взглядом, и вот уже летит, он уже лебедь, бессонный, странный, ширококрылый, в ночном небе летящий, он один такой, другого такого больше на земле не будет, летит между звезд, и они родня ему, они его Родина, его благословенье, его искупленье, его прощенье, его упование.

Смерть есть, от нее не уйти.

И смерти нет, пока он летит над Россией, над миром, белый лебедь, Федор Тютчев.

Летит между звезд.

*Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.*

Июнь 2020. Нижний Новгород

Подпись автора:

Дата: 15 июня 2020 года

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored piece of paper. The signature appears to be 'S. Krasov'.